

Пореволюціонное сознание и задача эмигрантской литературы

1. Пореволюціонное сознание — сознание цѣлостное. Как таковое, оно не может не предъявлять к литературѣ вполне определенных требованій.

2. Цѣлостность пореволюціоннаго сознания «качествует» в настоящее время прежде всего в политической формѣ. Пореволюціонное сознание не может потому не связывать политики и литературы.

3. Пореволюціонное сознание эмиграции — сознание противобольшевицкое. Из этого слѣдует, что оно не может не ожидать от эмигрантской литературы дѣйственной помощи в своей борьбѣ против большевиков.

Не обольщаюсь; — знаю, что наиболее даровитым эмигрантским поэтам и писателям, наиболее тонким эмигрантским критикам и наиболее культурным эмигрантским читателям мои пункты не по душѣ. Ого всѣх этих: — во-первых, во-вторых, в-третьих, им становится скучно, тошно, как Кутузову от стратегических предначертаній австрійскаго генеральнаго штаба; «die erste Kolonne marschieret, die zweite Kolonne marschieret, и т. д.». Знаю и то, как губительно для моих пунктов то обстоятельство, что всѣ они, на первый взгляд по крайней мѣрѣ, с легкостью укладываются в рамки большевицкой идеологии. Цѣлостное коммунистическое сознание догматически связывает литературу с политикой и в порядкѣ социальнаго заказа твердо ставит совѣтских писателей перед задачей идейной борьбы с міровой буржуазіей. Нѣчто, с формальной стороны по крайней мѣрѣ, вполне аналогичное происходит сейчас в Германіи. И в ней «идейная» литература через тысячи государственных шлюзов неистово льется на колеса общественно-политических мельниц. Свободное «искусство ради искусства»

считается величайшим позором: — «вечерним асфальтом», по которому вертляво простукивают фланирующие каблучки семитических фрейдианок и фрейдианцев. Идет упорная и жесткая борьба за «музыку чистой крови», за «шелест дубрав» и «народные пѣсни». В ослабленном видѣ аналогичныя явленія наблюдаются в Италии. В ближайшее время будут, по всей вѣроятности, наблюдаться и в других странах. Идеократія, как форма фашистской государственности, еще далеко не закончила своего побѣдоноснаго наступленія на европейское чело-вѣчество. Духовная свобода, и в частности свобода искусства, сейчас всюду под угрозой.

Но, если таково положеніе вещей, то как же можно призывать эмиграцію, самую судьбою поставленную на стражѣ духовной свободы творчества, к политизаціи искусства ради борьбы с большевиками? Не варварство ли такой призыв, не большевизм ли наизнанку, не полное ли непониманіе сущности искусства и культурно-политической задачи эмиграціи?

Твердый отрицательный отвѣтъ на всѣ эти вопросы возможен только на путях отчетливаго осознанія того факта, что в мірѣ идей нѣтъ большей противоположности, чѣм противоположность религиозно-цѣлостнаго сознанія, к которому устремлены новгородцы, и тѣх высочайше-утвержденных идеологических синтезов сектантски-партийнаго происхожденія, что лежат как в основѣ большевицкой государственности, так и всѣх иных форм фашизма. Цѣлостное міросозерцаніе, к которому устремлено новгородство, представляет собою религиозную апологию с в о б о д ы . Идеологическіе синтезы всѣх форм политических идеократій как раз обратное: — максимум богоборческаго отрицанія свободы духа и свободы творчества. Наш новгородскій призыв к «политизаціи искусства» не может потому означать слѣпой к пройденному русским символизмом пути защиты граждански-соціологической беллетристики, курско-соловьиной лирики и — еще того хуже — лихой конно-патріотической агитмакулатуры. Все это, в сущности, само собою очевидно, и обо всем этом и говорить бы не стоило, если бы не велись в эмиграціи все еще споры об отношеніи искусства к цѣлостно-

му міросозерцанію, к политическому дѣланію и если бы «Новому Граду» не приходилось подчас выслушивать весьма рѣзкія отповѣди не только от утонченных критиков, но и от подлинно даровитых поэтов.

В чем же корень недоразумѣній? Что мы защищаем и что проповѣдуем? Защищаем с а м о о ч е в и д н у ю истину: никакого большого и подлиннаго искусства, не связаннаго с цѣлостным міросозерцаніем и соціально-политическим дѣланіем своей эпохи и своего народа никогда и нигдѣ не существовало. Софокл — глубоко религіозный и политическій мыслитель, типичный представитель золотого вѣка Перикловых Аѳин и избранный народом (послѣ представленія Антигоны) стратег-полководец. Данте — богослов, политик, посол и эмигрант. Гете — философ, оригинальный и глубокомысленный естествоиспытатель и министр своего герцога. Достоевскій — богослов и философ, все творчество котораго — сплошная мука над разрѣшеніем соціально-политических вопросов. Не в меньшей степени, чѣм Достоевскій, и Толстой — типичный представитель цѣлостнаго міросозерцанія, «связывающаго Христа с аграрной программой» (Адамович). Продолжая перечислять примѣры, можно было бы без большого труда и без всякой нагрузки прійти к обобщающему заключенію, что величайшее искусство у всѣх народов всегда было не только художественным образом, но и религіозным символом, не только формою міровоззрѣнія, но и рычагом міроустроенія. Кузэновская теорія чистаго искусства (*l'art pour l'art*) не опровергает этого положенія, ибо сама является ничѣм иным, как характерным выраженіем и проведеніем в жизнь просвѣщенчески-индивидуалистическаго міровоззрѣнія 18-го и 19-го вѣков. То обстоятельство, что это міровоззрѣніе и стоящее за ним міроощущеніе утверждают мір не как религіозную цѣлостность, а как аналитическую розсыпь человѣческих особей и как механически расчлененный фронт независимых друг от друга культурных областей, существа дѣла не мѣняет. Теорія и практика «искусства для искусства» так же связаны с цѣлостным міросозерцаніем своей эпохи, — с политическим либерализмом, с капитализмом, манчестерством и философским «панметодоло-

гизмом» — как Данте с томизмом и Достоевский с православием. Вся разница (очень большая, но для нас в данную минуту не важная) заключается только в том, что целостное мирозерцание Данте утверждает целостность, а целостное мирозерцание Кузэна, Теофиля Готье и их последователей целостно утверждает «анатомизм жизни» и «рационализм мысли», как любили выражаться наши славянофилы.

Можно по разному относиться к философии истории Освальда Шпенглера, но созданная им «физиономика» не оспорима. Мало-мальски углубленное занятие какою-нибудь эпохой, убеждает, что у каждой эпохи, действительно, есть своя «душа», по разному, но все же и одинаково трепещущая во всех ее проявлениях. В искусствѣ только то вызрѣвает и удерживается на все времена, что растет из глубины этой эпохальной души, а потому и во внутренней связи с соседними областями культуры. Все же своезаконно в себѣ замкнутое, своевольное и отщепенческое неминуемо гибнет на обочинѣ великаго пути истории. Для убедительнаго раскрытія этой мысли было бы очень полезно провѣрить ее в широком европейском масштабѣ. К сожалѣнію, продѣлать такую работу в журнальной статьѣ совершенно невозможно. В качествѣ особо убедительнаго и близкаго нам примѣра напомнимъ потому лишь столь шумную «в началѣ вѣка» борьбу писателей «знальцевъ» с пестрою ватагою модернистов (беру сознательно это слово, как самое нейтральное и всеохватывающее). Не только рядовымъ завсегдатаямъ тогдашнихъ литературныхъ диспугов, но и профессиональнымъ литературнымъ критикамъ смыслъ этой борьбы представлялся, во-первыхъ, — наступленіемъ «чистаго искусства» на гражданскій паѳосъ литературнаго служенія, во-вторыхъ — наступленіемъ авторскаго индивидуализма на прочную традицію и, в-третьихъ — наступленіемъ иностраннаго мудрствованія (Ибсен, Ницше, Маллармэ, Верхарн, Верлен, Боллэр, и т. д.) на почвенное русское писательство. Но вотъ прошло четверть вѣка, и стало неоспоримо ясно, что сущностью модернизма, и прежде всего русскаго символизма, было все, что угодно, но только не разрывъ искусства с принципомъ целостнаго мирозерцанія и общественнаго служенія.

Все, что в модернизмъ было индивидуалистически-профессионального и, в смыслъ русской традиции, неорганическаго, давно уже сходит и завтра окончательно сойдет на нѣтъ. От самовлюбленнаго Бальмонта останется небольшой том своеобразныхъ стихотвореній. Вся-же бальмонтовщина, цѣликомъ укладывающаяся в двѣ строчки Городецкаго:

«Звоны, стоны, перезвоны,
Звоны стоны, звоны сны...

сгинет так же безслѣдно, как и безславно. Далекое не так много, как еще недавно, казалось, останется и от самонадѣяннаго Брюсова с его эротически-демоническимъ сатанизмомъ:

«Мы безконечно одиноки
«На днѣ своей души-тюрьмы...

Распадется на версификатора и агитатора, на талантливѣйшаго новатора русскаго стихосложенія и на черносотеннаго громилу большевизма псевдо-органическаго глыба Маяковскаго, дѣйстви-тельно интересная лишь как предметъ приват-доцентскаго (Блок), — лингвистическаго, формально-эстетическаго и социологическаго изученія. Но если таковъ закатъ самыхъ крупныхъ людей индивидуалистически-отщепенческаго модернизма, то что же говорить о всѣхъ тѣхъ «кофтахъ — цвѣтъ ганго» (Бурлюки, Шершеневичи, Мариенгофы), которыми, не безъ удали и не безъ таланта, «творился шумъ изъ ничего». Явно, что говорить обо всемъ этомъ нечего и не стоитъ, ибо на самомъ дѣлѣ происходила вовсе не борьба между писателями-общественниками и провозгласителями чистаго искусства, во славу самодовлѣющей личности автора-творца, а нѣчто совсѣмъ иное: замѣна позитивистически-либеральнаго и материалистически-соціалистическаго міросозерцанія, верховодившаго в то время в Россіи зарождавшимися и быстро распространявшимися идеями «новаго религіознаго сознанія».

Подготовленные всѣмъ девятнадцатымъ вѣкомъ: ранними славянофилами и народовольцами, социализмомъ и православіемъ Достоевскаго, Соловьевымъ — онѣ внезапно «принялись цвѣсти» в религіозно-философскихъ обществахъ Москвы и Петербурга, и

Московском Психологическом Обществѣ, в социал-демократической партіи, из которой вышли самые крупные русскіе религиозные мыслители — Булгаков, Бердяев и Франк, среди редакторов и сотрудников журнала «Логос», подходивших к новому религиозному сознанию не со стороны марксизма, а со стороны нѣмецкаго идеализма (Гегель, Шеллинг), а также и среди молодого поколѣнія священников, прорывавшихся сквозь трафарет синодально-монархическаго православія к живой постановкѣ вопросов религиозной общественности.

Вот в нѣскольких словах та атмосфера, среди которой зарождается, крѣпнет и в извѣстном смыслѣ играет главную роль русскій символизм. Косвенным свидѣтельством его духовной связи с новой, русской, религиозной философіей является то обстоятельство, что он так же, как и она, зарождается во всеохватывающем творчествѣ Вл. Соловьева, этого яркаго проповѣдника цѣлостнаго сознания и религиозно-общественнаго строительства. Ведущіе русскіе философы начала вѣка и самые значительные русскіе поэты-символисты: Вячеслав Иванов, Блок, Бѣлый — явно молочные братья, шедшіе одною и тою же столбовою дорогою русскаго духовнаго творчества. На эту же дорогу выходили наиболѣе талантливые представители «знаніевскаго» политизирующаго натурализма, на ея обочинѣ гибли чистые эстеты-антиобщественники. Философы: Булгаков, Бердяев, Мережковскій, Эрн, Франк; — поэты-символисты — Блок, Бѣлый, Вяч. Иванов, Зинаида Гиппиус, Ф. Соллогуб; — писатели-реалисты — Чехов, Бунин, А. Ремизов, Б. Зайцев — все это представляет собою, несмотря на всѣ различія имен и лиц, как бы единую звѣздную плеяду, восходившую над новою, сорванною большевицким марксизмом русскою культурой. Внѣ этого заново слагавшагося сознательно цѣлостнаго міропониманія, общественно очень живого и притом опредѣленно лѣваго, оставалось только старо-соціалистическое, натуралистическое творчество Горькаго и эстетически-демоническій иллюзионизм Валерія Брюсова. Характерно то, что наиболѣе значительныя «достиженія» совѣтской литературы, пробивающіяся сквозь наносную толщу марксистской идеологіи, явно несут на себѣ отсвѣты этого зарождавшагося в началѣ вѣка новаго со-

знанія. Сильнѣ всего это видно на Леоновѣ, который весь от Достоевскаго, на Есенинѣ, пришедшем в русскую литературу по пути Блока и Клюева, на Пастернакѣ, Асѣевѣ, внутренне связанных с Бѣлым и на многих других. Детальный анализ советской литературы (я исключаю из этого понятія агит-макулатуру, репортаж и всякую халтуру) безусловно привел бы к положенію, что ея главные источники в Гоголѣ, Достоевском, Ремизовѣ, Бѣлом и Блокѣ. Горькій, несмотря на свой большой талант, исключительную «своевременность» своего міросозерцанія и на находящійся в его руках громаднй общественно-педагогическій аппарат воздѣйствія на молодых писателей, родил одного Гладкова, а Брюсов, с его исторіософской риторикой, верхарновской социологіей и вампирической эротикой и вообще никого.

Лучшаго доказательства органической связи литературы с глубинами «души эпохи», с ея ведущей міросозерцательной темой не найдешь.

Вот о такой зависимости только и думает «Новый Град», выдвигая тезис связи литературы и политики и высказывая ожиданіе, что эмигрантская литература окажется сильным орудіем пореволюціоннаго сознанія в борьбѣ с духом большевизма. (Классическим примѣром способности литературы на такую роль может служить польская эмигрантская литература во главѣ с Мицкевичем). Причем важно понять, что эта связь и эта борьба нужны не только политикѣ, но и самой литературѣ. Литературѣ, быть может, даже больше, чѣм политикѣ, ибо вопрос о том, сможет ли эмиграція что-либо реально сдѣлать для сверженія большевизма — по крайней мѣрѣ спорен, то-же, что эмигрантской литературѣ рѣшительно нечѣм духовно жить, кромѣ как процессом творческаго преодоленія большевизма — безспорно. Всмотриваясь в то, что происходит в эмигрантской литературѣ (я исключаю из моего разсмотрѣнія творчество всѣх писателей, выброшенных в Европу уже вполне сложившимися людьми и художниками), ясно видишь двѣ подстерегающія молодую литературу опасности. Первая опасность — опасность чрезмѣрнаго увлеченія воспоминаніями; вторая — предательство вѣчной памяти о Россіи.

Разницу памяти и воспоминаній, о которой я уже не раз писал, я считаю верховным догматом всякаго эмигрантскаго міросозерцанія. Раскрывать исторіософскій и культурно-политическій смысл этого догмата я сейчас не могу и не буду. Скажу только вкратцѣ, что воспоминанія всегда направлены на свое и прошлое. Они корыстны и реакціонны. Их порочность в неискоренимой склонности связывать вѣчность всякаго явленія с его постоянно отмирающей формой. В отличіе от них память всегда направлена на всеобщее и вѣчное. Она безкорыстна и пророчественна. Ея благодатный дар в ощущеніи прошлаго, настоящаго и будущаго, как триликой, но единой вѣчности. Воспоминанія мало помнят о прошлом. Они хотят им жить и этим желаніем отрѣзывают себѣ пути к настоящему и будущему. Память же о прошлом хочет лишь помнить. Не собираясь его воскрешать, она легко и свободно связывает его вѣчность с вѣчностью настоящаго и будущаго. Воспоминанія — лирической тлѣн; память — онтологическая нетлѣнность.

Порабощеніе узким кругом своих личных воспоминаній о своем углѣ своей Россіи должно потому всякаго молодого писателя неизбѣжно вести вспять: к замедленію духовнаго роста и сниженію художественнаго творчества. Написал раз о своем Днѣпрѣ, о Царском Селѣ, о каткѣ с музыкой или о какой-нибудь иной своей лирической березкѣ, ну, а дальше что? Круг воспоминаній у всякаго молодого писателя мал; жить воспоминаніями молодости неестественно; жить же воспоминаніями об умершем и совсѣм нельзя. Такая жизнь смерти подобна. С чисто художественной стороны литературу воспоминаній подстерегает к тому же смертная опасность эстетическаго эпигонства, слабаго подражанія видным писателям прошлой эпохи, но без их чутья к своезаконію и беззаконію русскаго языка, без их органической связи с бытовою толщею Россіи, без их чувственнаго ощущенія ея запахов, красок, воздухов, влажностей, всей ея біологической, плотной единственности. Родись в эмиграціи, или эмигрируй в Париж лѣтъ 20 от роду талант не только равный Зайцеву, Шмелеву или Бунину, но даже и болѣе крупный, оң на путях Зайцева, Шмелева и Бунина ничего не сдѣлает. Погибнет от отсутствія матеріала и от отсутствія живой и ху-

дожественно отзывчивой аудиторіи. Зайцевых, Шмелевых, Буниных и нас всѣх, росших и зрѣвших вмѣстѣ с ними, он художественно не взволнует, только эгоистически обрадует своим сходством с ними и с нами. Патриотическую молодежь общевойскаго союза и других національных организацій он, конечно, задѣнет за живое, но скорѣе как пограничный полосатый столб, или как граммофонное «Занесло тебя снѣгом, Россія», чѣм как живой, человѣческій голос. Молодой-же эмиграціи, выросшей в Парижѣ, Берлинѣ, Прагѣ, Харбинѣ, а также и совѣтскому человѣку одних с ним лѣтъ, т.-е. всей двухбережной, новой Россіи такой подбунинец или подшмелевец ничего не скажет и ничего не даст; литература вѣдь не соловьиная трель на вечерней зарѣ, а отвѣтственное служеніе и умное дѣланіе: духовное домостроительство національной и общечеловѣческой культуры.

Из всѣх эмигрантских журналов парижскія «Числа» должны быть безоговорочно признаны не только за самый живой и талантливый, но и за единственный дѣйствительно близкій молодым эмигрантским писателям литературный орган. С этой точки зрѣнія редакторскія заботы и критическія оцѣнки «Чисел» представляют собою очень большой интерес, в особенности в связи с тѣми двумя угрозами молодому эмигрантскому писательству, о которых шла рѣчь выше. Опасность односторонняго погруженія в свои воспоминанія «Числам» до конца ясна. (Очень опредѣленно она высказана в рецензіи на «Суд Вареника» — Федорова). Большая-же и горшая опасность полнаго отрыва от Россіи, т.-е. опасность предательства вѣчной памяти о ней — им настолько не ясна, что нѣсколько странный сам по себѣ анкетный отзыв И. Шмелева о творчествѣ Марселя Пруста: «наша литература слишком сложна и избрана, чтобы опускаться до вліяній... невнятности, хотя и четкой...», становится вполне понятным.

В цѣлом рядъ отвѣтственных статей, помѣщенных в «Числах», как и в господствующем обликѣ «Числовской» беллетристики, есть какое-то явно осязаемое углубленіе правильной борьбы против эпигонства и провинціальности беллетристики сердцещипательныхъ воспоминаній до неправильнаго отрицанія

вѣчной памяти по Россіи. Дѣло тут, и это очень важно, не в проповѣди сознательнаго отхода от истоков русской духовности и культуры, не в новом пореволюціонном западничествѣ, а в чем-то гораздо болѣе сложном. Лозунга «спиной к Россіи, лицом к Западу» из «Чисел» вычитать нельзя, хотя Г. Адамович и пишет вполне откровенно «о нестерпимой тупости славянофильства». Отведеніе писательскаго взора от Россіи означает для ряда «числовцев» не столько переведеніе его взгляда на запад, сколько обращеніе его во внутрь, в глубину денациональной или сверхнациональной души. Уже Г. П. Федотовым было в свое время правильно отмѣчено, что в «Числах» (у Г. Адамовича, Б. Поплавскаго, Н. Оцуца и др.) наблюдается стремленіе к развоплощенію міра, к совлеченію с міроваго духа его природной и культурной плоти и в связи с этим странная, в художественном журналѣ почти непонятная вражда к творчеству, к облеченію духа в плоть и, главным образом, к національному, и бытовому уплотненію плоти. Борьба «Чисел» против «тупости славянофильства» означает таким образом не борьбу западников против національной Россіи, а, как это ни странно, скорѣе борьбу каких-то новых восточников, буддійствующих христіан против западничества славянофилов, против их, чуждых Востоку міроустремленной хозяйственности и бытолюбивой плотяной тяжести.

Новоградцы — не евразійцы: — бытового исповѣдничества, которое, к слову сказать, и евразійцы уже перестали проповѣдывать, никогда не защищали. Тѣм не менѣе в наших позиціях есть что-то, что очевидно раздражает нѣкоторых «числовцев» своею славянофильскою устремленностью к соціальному дѣланію и к христіански-національному домостроительству — вообще к догмату и паѳосу воплощенія.

Ярким примѣром такого раздраженія может служить слѣдующая, не одиноко стоящая в «Числах», цитата из комментарій Г. Адамовича. Привожу ее не в полемических цѣлях, а исключительно в цѣлях дальнѣйшаго выясненія моего взгляда на задачи молодого эмигрантскаго писательства. Г. Адамович пишет: «Еще гораздо страннѣе... новоградски-утвержденская модернистическая кашка из приторнаго нестеровскаго правосла-

вія и соціалістических достижений, вся это вообще революція на лампадном маслѣ. Доказать и тут ничего нельзя, но вся фальшь, которая есть в Достоевском, в «Дневникѣ писателя» больше всего, хотя и в «Письмах» и даже в «Карамазовых», — и во всей этой государственно-православной литературной линии, с отклоненіями то к Соловьеву, то к Леонтьеву, здѣсь сгущена до нестерпимой отчетливости... Главное — они хотят «строить» реально во времени и исторіи, на землѣ, и не чувствуют неумолимаго «или - или» раздѣляющаго христіанство и будущее». Миѣ сейчас не хочется спорить с Г. Адамовичем о правильности и не-правильности его характеристики новоградски-утвержденскаго сознанія. По моему она не вѣрна, но это не важно. Важно признание Адамовича, что у христіанства нѣтъ будущаго, что христіанство уходит из міра, что и «подумать нельзя, чтобы можно было попытаться вдохнуть его в кровь человечества», т.-е. утвердить его как верховную тему пореволюціоннаго строительства русской культуры и жизни. Но если так, то что же дѣлать молодому писателю эмиграціи, вѣрящему (это очень важно) вмѣстѣ с Г. Адамовичем, что хотя христіанство, конечно, и не опровергнуто, оно навсегда обезкровлено и обезсмыслено. Не означает-ли такое настроеніе с одной стороны полного разрыва с прошлым Россіи (— хорошо ли, худо ли бывшей все-же страной православной), а с другой и с ея будущим? — ибо какое-же будущее у страны, не могущей жить не опровергнутой истиной своего прошлаго? Как раз эмигранту, в отличіе от бѣженца, жить с таким міроощущеніем никак не возможно, ибо весь смысл эмигрантскаго служенія, эмигрантской памяти о Россіи, заключается в восстановленіи той традиціи русской культуры, которая была прервана революціей.

Взгляд, превращающій такое служеніе в утопію и иллюзію, не может не лишать эмиграцію в цѣлом чувства осмысленности ея бытія и ея борьбы, а эмигрантскаго писателя, как сознательнаго и убѣжденнаго эмигранта, необходимаго для него оощенія жизни и работы в своей собственной средѣ над своими

собственными заданиями. Косвенным доказательством правильности этого взгляда является то горькое чувство одинокого пребывания в безвоздушном пространствѣ, которое не только гайно звучит у многих сотрудников «Чисел», но и высказывается ими. Так, напримѣр, очень искренняя и внутренне точно вывѣренная статья В. Варшавскаго «О героѣ эмигрантской молодой литературы» начинается с признанія, что ум молодого эмигрантскаго человѣка лишен огромной части того матеріальнаго содержанія идей и интересов, которые наполняют сознаніе людей, находящихся и дѣйствующих в опредѣленной социальной сферѣ.

О том же изъятіи «сущности» человѣка из «общественности» говорит и Терапіано («Человѣк 30-х годов», «Числа» 7-8). Правда, оба молодых автора, как и вообще «Числа», пытаются выдать асоциальное «я» человѣка за нѣкую подлинную духовную реальность, которую эмиграція и должна противопоставлять духовно опустошенной «общественности» большевицкаго коллективизма. Терапіано так прямо и пишет: «рѣшимость выдерживать одиночество» самое значительное, что приобрѣло новое поколѣніе, и дай Бог; чтобы лучшая часть наших молодых поэтов и писателей не соблазнилась-бы легкой, дешевой удачей — литературой — толпы ради». Но попытки эти, при всей их психологической понятности и правдивости, духовно все-же явно ошибочны и культурно-политически вредны. Их ошибка и даже больше — их грѣх, их соблазн, заключается в том, что онѣ рѣзко отдѣляют «сущность» человѣка от «общественности», религиозный план жизни — от социальнаго. Дѣлать человѣка на духовно-реальную «вещь в себѣ» и на производныя отраженія этой реальности в сознаніях и волях ближних, как вслѣд за Шестовым дѣлает Варшавскій — нельзя. Вся эта Кантовская схема к духовной жизни не примѣнима. Наше человѣческое «я», только потому и «я», а не вещь, что оно начинается с «ты», с «ты еси», с «мы», т.-е. с утвержденія соборности социальнаго начала, или — по Аристотелю — с утвержденія политическаго начала, как предпосылки личной жизни. Это не значит, конечно, что каждый эмигрантскій писатель и поэт должен заниматься политикой и социальными вопросами в ду-

хъ и смыслъ политическихъ партій или движеній; это значитъ только, что он не можетъ творить, никого собою не представляя и ни к кому не обращаясь, не ощущая в ощущеніи «мы» живой связи с каждымъ предстоящимъ ему «ты». Писатель, ощущающій себя мистическимъ фонтаномъ, бьющимъ в безвоздушной средѣ подъ стекляннымъ колпакомъ, духовно такъ же немислимъ, какъ физически немислимъ такой фонтанъ; в особенности в нынѣшнюю эпоху, правда которой не только в борьбѣ противъ механическаго коллективизма, но и того духовнаго и социальнаго одиночества, которому этотъ коллективизмъ пришелъ на смѣну. Мольба Валерія Брюсова: «Одиночество, встань, словно мѣсяцъ, надъ часомъ моимъ» — всегда звучала несправедливо и даже снобистично. В нашемъ же положеніи, гдѣ одиночество отнюдь не в поэтическомъ образѣ мѣсяца, а гораздо реальнѣе и страшнѣе стоитъ надъ большинствомъ изъ насъ, эмигрантовъ, настаивать на немъ и не правильно и вредно. Правильно какъ разъ обратное: выходъ изъ своего одиночества, но выходъ, конечно, не в «толпу» (толпа — злѣйшее одиночество, мѣсто толчеи всѣхъ одинокихъ), а в «общее дѣло» эмиграціи, по собиранію, уплотненію, а в будущемъ и воплощенію (черезъ кого и какъ, сказать еще невозможно) того подлиннаго, вѣчно мѣняющагося, но и во вѣки вѣковъ неотмѣннаго образа Россіи, который страстно оспаривается коммунистическою властью, но изуродованно и однобоко возстанавливается, конечно, и в Совѣтской Россіи. Только в такомъ — не побоимся сказать — героническомъ настроеніи возможно молодому эмигрантскому писателю найти себя и свой творческій путь. Внеъ его обязателенъ срывъ, который уже давно началъ намѣчаться в нашемъ писательскомъ зарубежѣ. Эмиграціи надо каждый день себѣ повторять, что сохраненіе своего лица возможно только на путяхъ покорности своей судьбѣ. Отступничество отъ заданій, предначертанныхъ намъ самою судьбою, всегда ведетъ къ погашенію лица, къ разложенію его в случайно окружающей насъ средѣ. Мы же всѣ все время окружены чужой и в каждой странѣ иной средой. Опасность отступничества отъ нашихъ эмигрантскихъ заданій и обезличенія нашего творческаго лица — для всѣхъ насъ очень велика. Потому необходима постоянная настороженность слуха и постоянная провѣрка воли.

Всякій культурнический сепаратизм «Новому Граду» не только чужд, но и враждебен. Тѣм не менѣе нельзя не видѣть, что французская литературная среда и традиція начинают подчас зловѣще разлагать нужную для дѣла эмиграціи русскость молодого писательства. Имена Джойса, Жида, в особенности Пруста встрѣчаются в устах парижских писателей чаще крупнѣйших русских имен. Нѣкоторые из них и сами пишут под излюбленного ими Пруста, явно впадая при этом в чуждый русскому искусству аналитическій психологизм и в явно французскую интонацію фразы.

Характернѣе писательства быть может молодая парижская критика, в частности рецензіи журнала «Числа». При всем разнообразіи пишущих в самом подходѣ к проблемѣ литературной критики есть почти у всѣх нѣчто общее, русской критической традиціи чуждое. Это общее и чуждое заключается в том, что в ней нѣтъ того «варварства», которым Западу представляется русская идейность. Говоря иначе: ея не-русскость заключается в отказѣ от духовнаго водительства писателя и читателя. Вся русская критика держалась — причем не только в лагерьѣ общественников, но и в лагерьѣ символистов — вѣрой. Парижская-же критика держится не вѣрой, а вкусом. Русская критика, вплоть до собраній «Свободной эстетики», была, как это ни странно звучит — спором без разговоров. Рецензійные же отдѣлы «Чисел» — это разговоры без спора. Всякій прав, кто нѣчто свое зорко увидѣл и точно сказал. В таком подходѣ к вопросам литературы явно сказываются метафизическая усталость, европейскій профессионализм и декадентством тронутый эстетизм. Всѣ эти свойства приводят иногда к странным сужденіям: «Толстой в сосѣдствѣ с Прустом перестает сіять, вянет, блекнет», причем дѣло «не в литературном превосходствѣ, а в чем-то поважнѣе»; «Густав Мейринг — тождественен Гоголю второго періода»; «Фельзен связан с Лермонтовскою прозою»; «Его (Достоевскаго) идеи почти никогда не бывают абсолютны, онѣ выражают лишь состоянія его персонажей»; «Владимір Соловьев... одни чернила»; «Русская литература мало занималась

«собственно» человеком... Все это от лукавого. Всѣ эти сужденія, а таких много, в лупу увидѣнныя и в громкоговоритель провозглашенныя маленькія полувѣрности, оспаривающія своим преувеличеніем истинное обстояніе вещей. Владимір Соловьев, несмотря на непріятную діалектически-гегельянскую поверхность своих произведеній, писал, конечно, кровью (это чувствовали и Блок, и Бѣлый). Чернилами его кровь кажется цѣлым трем критикам «Чисел» только потому, что, страшно занятый удумываніем и устройеніем міра, он пренебрегал (в отличіе от гениальнаго по красочности писателя Розанова) писательским мастерством и довольствовался в теоретических статьях духовно всегда глубокой, а часто и весьма остроумной гладкой фразой «Русских Вѣдомостей». «Собственно человеком» русская литература занималась больше всѣх других литератур; не занималась она только психологіей, но психологія имѣет мало отношенія к «собственно человеку». Идеи Достоевскаго — есть подлинно идеи, а не «состоянія его персонажей». Прав не Жид, психологизирующій Достоевскаго, а Бердяев, утверждающій, что Достоевскій не психолог, а пневматолог. Не буду продолжать своих контр-замѣчаній. Думаю, что и сказаннаго достаточно для новаго освѣщенія и подкрѣпленія моей мысли, что творить эмигрантское дѣло можно только ощущая эмиграцію, как живую социальную среду и духовный авангард той тайной Россіи, которая завтра станет явной, а творить эмигрантскую литературу, как русскую, можно только в ощущеніи жизненности и нужности обще-эмигрантскаго дѣла. Въ этого остается: распыленіе, одиночество, денационалізація и в предѣлѣ для единиц, как единственный послѣдовательный выход — переход на иностранный язык.

Я очень хорошо понимаю всю трудность той задачи, которую я ставлю перед молодою эмигрантскою литературой. В концѣ концов у писателей зарубежья ничего другого за душою нѣтъ, да и быть не может, кромѣ шепота горестно-сладостных воспоминаній о своем клочкѣ своей Россіи, весьма безрадостных впечатлѣній эмигрантско-европейскаго быта, да вѣчных мук и радостей одинокаго человѣческаго «я». Признавая это, я все-же утверждаю, что ни того, ни другого, ни третьяго не

достаточно, чтобы эмигрантская литература могла расти и крѣпнуть. Для ея дѣйствительнаго роста, для духовнаго вызрѣванія молодых дарованій необходимы кромѣ опредѣленнаго запаса вывезенных из Россіи и набранных в эмиграціи сюжетов, да того углубленія в свое «я» вплоть до встрѣчи со «сверх-я», с вѣчностью, с Богом, без котораго невозможно большое искусство, еще и нѣкая общая направленность сознанія, нѣкая общность духовнаго служенія, нѣкая единая тема и нѣкая единая прозекціонная плоскость для всѣх душевных исканій и сюжетных замыслов. Необходимо, одним словом, все то, что было, как я пытался показать, и у западнически-общественнаго крыла русской литературы, от Тургенева и Григоровича до Горькаго и Короленки, и у религиозно-символическаго — от Гоголя и Достоевскаго до Бѣлаго и Блока. Таким обобщающим началом не может быть ни курящееся воспоминаніями пепелище сгорѣвшей усадьбы, ни во всѣх странах иная и всюду одинаково мучительная эмигрантская жизнь. Таким общим началом может быть только то, что по судьбѣ и по заданію обще всѣм эмигрантам: историческая трагедія революціи и вѣчный лик Россіи. С этими темами не справиться ни при помощи зарисовки по памяти прежней Россіи, ни при помощи парижски-бѣлградски-харбинских снимков с натуры. Не помогут тут ни углубленіе в свое личное «я», ни метафизическій надрыв одинокаго умствованія, ни скорбно-безстыжее оголѣніе своих половых мук, ни щеголяніе культурничеством и духовною утонченностью. Тут нужен, как он ни труден в эмигрантских условіях, выход на совсѣм иной и очень большой простор. Болящая сердцевина эмигрантской жизни: исторгниутость из Россіи и неприкаянность в Европѣ должна быть превращена в отправную точку всей творческой жизни писателя. Россія, не данная в ежедневном непосредственном содержаніи, должна быть внутренне увидѣна при помощи пристальнаго изученія ея исторіи, культуры, литературы. Должны быть разгаданы ея сложныя судьбы, ея трагическія отношенія к Европѣ, приведшія нас в Европу, постигнуты реальныя и живыя нити, объединяющія живущіе в ней народы и племена, внутренним взором увидѣны таинственные лики ея пейзажей, передуманы мысли и перечувствованы

чувства ея великих людей и, наконец, предчувственно уловлены смутныя очертанія ея грядущаго духовнаго и тѣлеснаго облика. Все это должно быть осилено не в порядкѣ научнаго историческаго или соціологическаго изслѣдованія, а в порядкѣ живого художественно-интуитивнаго постиженія, в порядкѣ длительного, упорнаго, конечно, труднаго и остро-личнаго разгадыванія таинственнаго смысла нашей эмигрантской судьбы, в порядкѣ защиты нашей политической чести, в порядкѣ исповѣданія нашего національнаго служенія. Только такую сложную работой, только на таких обходных путях, может молодой эмигрантскій писатель внутренне срастить свой творческій путь, как с духовным возстановленіем Россіи, так и с религіозной, философской, изслѣдовательской и политической работой эмиграціи. Само собою разумѣется, что мой призыв к молодым писателям направить свою волю и свои взоры в сторону Россіи, отнюдь не означает требованія сюжетнаго самоограниченія. Описывать можно, конечно, что угодно: парижскую Ротонду, марсельскую гавань, торговлю опиумом на Дальнем Востокѣ, кибиточную барышню в свѣтелкѣ над рѣкой. В послѣднем счетѣ важно не то, что писатель описывает, а то, что он всѣми своими писаніями говорит, что он пишет. Важно потому лишь одно, чтобы всѣми писаніями молодые эмигрантскіе писатели писали, живописали тот вѣчный облик Россіи, который каждый эмигрантъ обязан не только пассивно таить, но и ежедневно активно творить в себѣ.

Ф. Степун.